

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Главный барин (Сибирские рассказы)



МАМИН, Дмитрий Наркисович, псевдоним — Д. Сибиряк (известен как Д. Н. Мамин-Сибиряк) (25.X(6.XI).1852, Висимо-Шайтанский завод Верхотурского у. Пермской губ.- 2(15).XI.1912, Петербург) — прозаик, драматург. Родился в семье заводского священника. С 1866 по 1868 г. учился в Екатеринбургском духовном училище, а затем до 1872 г. в Пермской духовной семинарии. В 1872 г. М. едет в Петербург, где поступает на ветеринарное отделение Медико-хирургической академии. В поисках заработка он с 1874 г. ста-

новится репортером, поставляя в газеты отчеты о заседаниях научных обществ, В 1876 г., не кончив курса в академии, М. поступает на юридический факультет Петербургского университета, но через год из-за болезни вынужден вернуться на Урал, где он живет, по большей части в Екатеринбурге, до 1891 г., зарабатывая частными уроками и литературным трудом. В 1891 г. М. переезжает в Петербург. Здесь, а также в Царском Селе под Петербургом он прожил до самой смерти.

Содержание

I.....	.0006
II.....	.0015

Д.Н. Мамин-Сибиряк
Главный барин
Рассказ

Каждый раз, подъезжая к лесной деревушке Грязнухе, засевшей в глухом лесном углу, я испытывал особенное чувство, которое трудно назвать: это был край света, совершенно особый мир, страничка из русской истории XVII столетия. Где-то там далеко творились чудеса цивилизации, где-то складывались громадные промышленные центры, открывались новые пути, делались великие открытия, совершались страшные кровопролития, а Грязнуха оставалась все такой же Грязнухой, чуждая и чудесам, и открытиям, и кровопролитиям. Около двух лет назад пришел какой-то посельщик Евстрат, темный человек, скрывавшийся, вероятно, от какого-нибудь московского розыска, высмотрел глухое местечко на гнилой речонке Грязнухе и здесь осел. Это был корень, из которого выросла нынешняя деревня, — в ней все жители носили одну фамилию, Евстратовы, по родоначальнику. Чужой человек удивился бы, что деревня Грязнуха засела в болоте, когда всего в версте от нее великолепное светлое озеро

Вежай с такими удобными берегами для селитьбы, но родоначальник Евстрат поселился именно в болоте, как скрывается по чащам и зарослям травленный волк, — ему нужно было укрыться от грозного государева ока. И Евстрат не ошибся: он не только сохранил свою личную неприкосновенность, но вывел целую семью, и теперь «Евстратовых» дворов тридцать. Деревенская косность сохраняла за собой родительское место и ни за что не хотела уходить к озеру: не сами, по родителям. Самое интересное было то, что сама по себе Грязнуха решительно была никому не нужна и сама ни в ком не нуждалась. Мимо нее никто и никуда не ездил, не было здесь никакого торжка — одним словом, как есть ничего, и все эти Евстратовы жили, наверно, так же, как жил их родоначальник Евстрат. Сюда не проникли даже такие всеразрушающие элементы, как самовар-туляк и линючие московские ситцы. Все ходили в домотканой пестрядине, носили домотканую сермягу, укрывались своей домашней овчиной. Большинство баб нигде за пределами Грязнухи не бывали и боялись всего, что было за этими предела-

ми, — это был родительский страх. Бывальцами в Грязнухе считалось двое мужиков — отставной солдат Македошка, отчаянный пьянюга, и охотник Сысой, возивший набитую на озере Вежае дичь в город. Они являлись исключениями, и коренные, настоящие грязнухинцы относились к ним с большим недоверием, как к людям испорченным и зараженным.

Мне случалось раза два в лето приезжать в Грязнуху с специальной целью поохотиться на гусей, укрывавшихся по «ситникам» и «лавдам» озера Вежая. Ситник — высокая и жесткая озерная трава, похожая на камыш; ею зарастают озерные берега на большое пространство, иногда в несколько верст. Из ситника же образовались живые плавучие острова — это и есть лавды. Озеро Вежай разлеглось в своих лесистых берегах на несколько верст, и в его ситниках можно было заблудиться. Дело в том, что в береговых зарослях пробиты узкие ходы, по которым с трудом можно было пробраться только на лодке-душегубке. Эти ходы так запутаны, что неопытный человек мог по ним блуждать несколько

дней, как по лабиринту, и все-таки не выбрался бы на открытое озеро. Легенда говорила о двух таких охотниках, погибших в ситниках. Зато для дикой птицы здесь настоящее приволье, и она плодилась здесь массами. Гусь — сторожка, умная птица и не будет вить гнезда в сомнительном месте, а здесь гуси вились из года в год, и их покой нарушал только один Сысой.

Итак, я подъезжал в осенний денек к Грязнухе с тем чувством, как будто погружался в глубины XVII столетия. Стояли светлые сентябрьские дни «бабьего лета». Узкая проселочная дорога была избита до невозможности, и мой дорожный коробок делал какие-то судорожные движения, точно его била жесткая лихорадка, — пенье, коренье, камень и непролазные великие «грязи», как писали приказные из Москвы.

— А застанем мы Сысю дома? — спросил я своего возницу, начиная испытывать беспокойство.

— Куды ему деться-то, Сысою? — уверенно ответил бывалый городской человек. — Известно, дома...

Тоже особенность Грязнухи: всегда и все были дома, следовательно, и Сысой должен быть дома.

У Грязнухи никакого вида не было, как у других деревень. Просто болото, а в болоте рассажались без всякого плана десятка три изб, да и те, по русскому обычаю, задами к реке. Изба Сысои стояла в стороне. Мы к ней и подкатили, обратив на себя внимание одной только собаки Соболя, рвавшейся на цепи. Сысой действительно оказался дома. В избе сидел еще гость, солдат Македошка. Меня удивило с первого раза то, что Македошка сидел у стола и пил водку, — время самое не указанное для такого занятия. Сам Сысой налаживал старую мережку и оставался только благородным свидетелем. У печки возилась с ухватом его жена, сердито поглядывавшая на загулявшего солдата. Когда я вошел, Македошка посмотрел на меня презрительно прищуренными глазами и даже сплюнул на сторону, точно отгоняя какую-то неблагочестивую мысль.

— Ах, братец ты мой... — проговорил он наконец, крутя головой. — Д-даа... Как вы насчет

этого самого полагаете, городской господин?..
Ах, братец ты мой...

Я ничего не мог полагать относительно «этого самого», и Македошка еще раз плюнул, причмокнул по-пьяному и провел рукой по лицу, точно не мог проснуться от какого-то сна. Меня удивило гордое настроение солдата, тем более, что раньше он всегда отличался заискивающей угодливостью спившегося человека.

— Ты бы, Македошка, шел домой, — предложил Сысой. — Только духу напустил своим винищем...

Вместо ответа Македошка хрипло засмеялся, а потом торопливо хлопнул стакан водки и проговорил:

— Баушка-то, значит, Домна... х-ха!.. Маланья, ты бы проведать ее сходила... Решилась баушка-то. Совсем как полоумная ходит. Верно...

— И то решилась... — ответила сердито Маланья, гремя ухватом. — Этакое счастье господь послал.

— Деньги куда-то спрятала, а сама все яйца считает... х-ха. А кто сруководствовал все де-

ло? Все я, Македошка... На, получай, да не поминай лихом Македошку. Ах, братец ты мой...

— А Ермилку ты же научил? — спросил Сысой, оставляя работу.

— Ну, Ермила-то другого поучит... Он, брат, сразу привесился. Шешнадцать целковых, и тому делу конец. Значит, два раза самовар наставляли, да вечером пермени сделали — только и всего. Новую лошадь, слышь, покупает на эти деньги... Вот он какой, Ермила-то!.. Ах, братец ты мой... А баушка Домна решилась ума, верно. Даве я заходил к ней, так она забилась в угол и от меня этак рукой: «Уйди, солдат! Уйди, грех!» Х-ха...

Македошка допил водку, еще раз с презрением посмотрел на меня, как-то фыркнул и, не простившись ни с кем, вышел из избы. Он был мертвецки пьян, хотя и держался еще на ногах. Видимо, он пил уже не первый день.

— Форсун... — сердито ворчала Маланья, когда дверь за солдатом затворилась. — Непутевая голова.

Сысой политично молчал. Очевидно, что случилось что-то и случилось очень важное, а Сысой был обстоятельный мужик и не любил

болтать зря. Это был среднего роста плечистый мужик в полной поре... Я часто любовался этой живой мужицкой силой и какой-то особенной цельностью каждого слова и каждого движения. Охота для Сыся служила только подспорьем, а по существу он был исправный, работающий мужик, что редко встречается между охотниками. Благообразная русая борода, карие умные глаза, степенные движения — все говорило в его пользу. И баба у него была славная. Все успевала сделать и мужа обряжала с деревенским достатком — все на Сысое было крепкое своей домашней крепостью. Я заметил, что в Грязнухе случилось что-то необычайное, что всех волновало и приводило в нервное настроение, особенно жену Сыся. Спрашивать прямо я не хотел, потому что по-деревенски это было бы бестактностью.

— Поедем на охоту? — спросил я Сыся.

— Поедем...

Он ответил неохотно, — видимо, ему было не до гусей. Признак был плохой.

Когда мы собирались выйти из избы, в окне показалась голова Македошки. Малашья

даже вздрогнула. Солдатская рожа прильнула к оконному стеклу и хрипло хихикнула.

— Ах, братец ты мой... — бормотал он. — Сейчас был у баушки Домны... х-ха... То ли еще будет... Постой!..

Солдат даже погрозил кому-то кулаком. Когда мы с ружьями вышли на улицу, Македонка с гиканьем пронесся мимо нас на неоседланной лошади.

— Сбесился, крупа, — ворчал Сысой, вскидывая на плечо свое ружье.

До озера от Грязнухи было всего версты полторы. Мы свернули с дороги и шли тропой, пробитой по болоту в мелком «карандашнике», то есть мелкой болотной поросли из вербы, золотушной болотной березы-карлицы и ольхи. Сысой молчал. На низком песчаном мысу мы нашли лодку. Вода в озере была совсем темная, — рыбаки называют осеннюю воду тяжелой и уверяют, что именно поэтому осенью и не бывает крупной волны, как в Петровки, когда вода легкая. Когда мы уже сажались в лодку, я обратил внимание на валявшиеся пустые жестянки из-под консервов.

— Кто-то приезжал на охоту? — попробовал я догадаться;

— Нет... нет... — уклончиво ответил Сысой, отпихивая лодку от берега. — Наезжали господа...

— Следовательно?

— Нет... Как их назвать — не умею. Одним словом, чугунку нам хотят налаживать.

Для меня теперь сделалось ясно все, начиная с пьянства Македошки и кончая нервным

настроением Маланьи. Сысой молча выгребал веслом. Лодка летела стрелой, делая судорожные движения при каждом взмахе. Мы перекосили озеро к дальним лавдам. От правого берега чинно отплыла чета лебедей с парой лебедят, — на Урале эту птицу не бьют, как не бьют голубей. Она еще пользуется привилегией заповедной птицы, которую убивать грешно. Где-то из ситников снялась утинья стая и со свистом пронеслась высоко над нашими головами.

— Птица грудиться стала... — объяснил Сысой. — Теперь молодых учат на отлет. Сильно теперь сторожатся.

Мы забрались в ситники, и скоро ничего не осталось, кроме двух зеленых стен по сторонам да неба над головой. Ситники в корне уже пожелтели, а жесткие зеленые листья шелестели как-то по-мертвому, как шелестит высохшая осенняя трава. Не было того зеленого живого шума, которым полон лес в летнюю пору. И вода тоже была мертвая и как-то по-мертвому расходилась жидкими морщинами, точно это были конвульсии.

Охота как-то не задалась. В двух местах гу-

си снялись раньше, чем мы их заметили, потом мое ружье сделало осечку, потом Сысой «промазал» по кряковой. Он только плюнул и бросил ружье в лодку. Что уже тут хлопотать, когда не везет. Внутренне я обвинял его в этих неудачах, потому что, видимо, он сегодня относился к делу с самым обидным индифферентизмом, а когда нет священного охотничьего жара, все равно ничего не выйдет. В результате оказались убитыми два несчастных чирка, одна кряковая утка и гагара — последнюю Сысой убил от злости, чтобы разрядить ружье.

— Ну что же, остается ехать домой, — заметил я, подавляя в себе справедливое негодование. — Какая это охота...

Сысой только тряхнул головой.

— Домой выворотимся? — спросил он точно в свое оправдание.

— Выворотимся.

Оставалось для полноты неудачи заблудиться в лавдах, и это произошло. Сысой перепутал какой-то проход, и нам пришлось плавать по ситникам битый час. Эта последняя неудача сконфузила его, и он энергично

выругался.

— Ах, братец ты мой!.. — ворчал Сысой, загребая веслом. — Ведь вот поди ты, притча какая... а?... Н-нуу...

Обернувшись ко мне и пустив лодку по ветру, Сысой заговорил с тою особенной быстротой, когда является потребность выгрузить наболевшие мысли:

— Что у нас делается, барин... А-ах, братец ты мой! Вся деревня ума решилась. Ходим, как пьяные... То есть такое дело, такое дело!.. Вон баушка Домна совсем спятила с ума... Видите ли, как оно все вышло. Народ, прямо сказать, от пня, ничего не понимает. Живем в лесу... А тут вдруг пали до нас слухи: ведут чугунок, и прямо на нас. Ну, ведут, так ведут... Наше дело — сторона. И что бы ты думал, братец ты мой? Устигла она нас, чугунок, значит, и еще как устигла... Первое дело, слышим мы, что партия уже в Матвеевой, это где Ермила живет... Там у них село и, значит, кабак, и, значит, Македошка там руководствует в лучшем виде. Только этот раз глядим, а Македошка на своей собственной лошади едет и пьяный-препьяный, и песни орет. Избенка у него

завалящая, женушка непутевая, хозяйство — ухват да вилы, тут прямо на своей лошади. Приехал он это и бахвалится: «Народы, грит, озолочу!» Известно, непутевый человек, зря орет. Одним словом, озорник... Хорошо. Вот он нам тут и рассказал про это самое дело. Грит, пришла это партия в Матвеево и сейчас, примерно, начальник: самовар. А самовар-то только у Ермилы... Справный мужик, свой кабак содержит. Хорошо. Выпили господа самовар, а потом есть захотели. А какая в деревне еда? Ну, тут Ермила опять свою линию, настряпала евонная хозяйка перменей и подает. Наутро опять самовар... А потом барин и говорит: «Сколько тебе следовует, мил-человек?» Ну, Ермила-то и ахнул: шешна-дцать целковых... Тоже совесть у человека. На полтину всего-то добра справил, а он вон как завернул... Тоже и язык повернется у человека. Ведь заплатил барин-то, слова не молвил. А Македошка, значит, тут же толчется и все смотрит... Одним словом, пес кабацкий. И сейчас, примерно, Македошка к партии пристроился, партия идет — и Македошка идет. От Матвеевой-то до нас верст с сорок, ну

и идут. Партия идет позади, а главный барин поперед. Местов не знают, ну, а тут пересылку надо сделать — опять Македошка тут же. Барин-то и лошадь ему дал: ездил, ищи. Ну, Македошка и ездит, а поденщина ему три целковых. Это как по-вашему?.. В месяц ему таких денег никто не даст... Хорошо. Только ездил-ездил таким манером Македошка, напился как-то да пьяный прилег к огню и бок себе спалил. Сам-то чуть не сгорел, окаянная душа... Хорошо. И что бы ты думал, какую штуку уколол он, Македошка? Горел-то он в партии, ну, начальник, который при партии, и пожалел его, пса, значит, дал шесть целковых: ступай, выздоравливай. А Македошка уж весь скус узнал и прямо к главному барину: так и так, чуть живота не решился. А главный барин добреющий и сейчас, напримерно, добывает четвертной билет и дает Македошке. На, не поминай лихом... И сейчас Македошка купил себе лошадь и прямо к нам в Грязнуху пригнал. Сбесился человек... Слова у него пустые, осатанел... Ездит по деревне и орет: «Всех озолочу!»

Сысой тяжело перевел дух, еще раз пере-

живая все, что произошло.

— Нет, что он сделал, опять Македошка этот самый... Прожил этак дня с два, деньги пропил и сейчас жену научил. Пошла она прямо к главному барину, сейчас в ноги, сейчас завыла: так и так, муж помер... Запалил себе бок и помер. Тут главный барин опять ей четвертной билет прямо в зубы, только не реви. Ну, воротилась она в Грязнуху и деньги своему солдату принесла... Вот какое дело, барин. То есть никто ума не приложит... Хорошо. Только дошла партия и до нашей Грязнухи, а потом, того, и сам главный барин приехал. Ничего, хороший барин — глаз у него веселый, играет и все посмеивается. Известно, ежели денег у него нетолченная труба, ну и уважает свой карахтер. Пожил у нас он дня с два... да... И нагяделись мы! Ах, что только было, братец ты мой! Деньгами так и сыплется, на, получай. Македошка тогда и научил баушку Домну: «Ступай, баушка, яйца продавать барину и проси с него за десяток четыре целковых». Ну, побежала старуха, показывает яйца, а барин ей сейчас деньги... Что же это такое, а?.. По нашей-то цене всего восемь копе-

ек они стоят, да и то некому продавать... По осени вон я цыплят вожу в город, так по пятачку плачу за штуку. Помутилась ведь умом старуха, потому как и в жисть свою таких денег не видывала... Другие бабы завидуют ей и поедом едят. А главное — никто ничего не понимает, как и что...

— А Македошка?

— У Македошки ошибочка вышла с баринном... Разлакомился уж очень пес. И стыда никакого... Барин в Грязнуху, а он сейчас к барину. «Да ведь ты помер?» «Никак нет, ваше высокое благородие». И сейчас, напримерно, говорит: «Пожалуйте, грит, за бесчестье четвертной билет»... Ну, тут уж главный барин расстервенился и прямо Македошку в шею... Ах, что только было, братец ты мой, что было!.. Все мужики-то как ом орошенные сделались, так и рвут... Ну, а потом партия ушла дальше, главный барин уехал, а мы вот остались опять на прежнем положении. Будем ждать чугунки...

Положение Грязнухи действительно было критическое. Из своего семнадцатого века она прямо перешагнула в самый конец девят-

надцатого. Одно появление «главного барина» перевернуло сразу все вверх дном. Трущоба проснулась, а имеющая выстроиться железная дорога закончит остальное.

Я уезжал из Грязнухи с тяжелым чувством, как от труднобольного, которого не надеешься увидеть в следующий раз. Прощай и озеро Вежай, и гуси, и вся обстановка семнадцатого века...

1893 [1]

Примечания

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1893, № 267, 28 сентября. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902.

[^^^]